

**1942****Апрель-август****Три девицы под окном пряли поздно вечерком**

Здесьние холода налетают как ветер. Зато весны растепливаются с растяжкой. Ахмет у самой избы сугробы разгреб. Усаживаюсь на прикрылечный бывший пень. Все с той же книгой. Женька с вороной. Общаются. Ворона по-татарски «карга». Мама ее почти приручила, подкармливает, сгребая на досточку недоеденное. Гороховые ошметья. Кусочки лапши. Карга сердится — не наелась. Норовит долбануть ее в руку. Клювом. Братца почему-то не трогает. На меня каркает. И крылья растопыркой.

Солнце заваливается за крышу. Все. Биткен, то есть «конец» по-здешнему. Обеденный перерыв и послеобеденный сон. Печеные картошины в пушистой золе. Кружки с молоком на крайчике плиты. Еще тепловатые.

Наконец весне надоедает лениться-потягиваться... Дни длинные. Вечера короткие. Все, что можно выудить из не очень-то разговорчивой моей мамы и про Рим, и про Китай, и про Наполеона, — мои «почему» уже выудили. Курсирую (отцовское слово) между горкой из толстых и длинных бревен и все тем же бывшим пнем. И моя книжка со мной, хотя не прочитаны до почти наизусть лишь несколько непонятных страниц с рисунками, похожими на чертежи. Не читаю, конечно, однако нарочно держу раскрытой. Чтобы

они не подумали, сижу, мол, здесь потому, что слежу. Как шпион. Они — это соседи Миникамал, с которыми ни она, ни мы по-прежнему не знаем.

Снежное накрывало — сверху ледяная короста, с изнанки мокреть, под мокретью вода талая — все тоньшеет и тоньшеет. Земля, нахлебавшись, меняет окраску. С утра по бурому зеленоватые черточки, к вечеру черточки превращаются в пятнышки, пятнышки в прозелень, прозелень в зелень.

На крыльце соседского дома появляется старуха с веревками. Веревки чистые, беловатые. Свернутые в кольцо. За старухой с веревками выскакивает девица с палками. На верху каждой палки рогулька. Натягивают веревки — от угла избы к сараюшке. Крыша у сараюшки плоская. Выбегают еще две девицы. У каждой в охалке ярко-цветная домотканина. Старуха возвращается в дом, девицы остаются. Развешивают принесенное — ковры, коврики, дорожки и просто тканье; в провиснувших низко местах подставляют палки-шесты с рогульками. Сами нарядные. Ростом разные, а косы, по спине, почти одинаковые: ярко-черные и блестящие. И длинные-длинные. Оглядываются на меня. Улыбаются. Где ж я все это видела? Ой, неужели в оставленной в Туймазы книжке? Про храброго витязя Козы-Корпеча и его невесту, красавицу Баян-Слу?

Сначала девицы, все три, кажутся похожими на Баян-Слу. Из-за кос и наряда. За такие проч-



С помощью Интернета детгизовское издание казахского «Сказания о Козы-Корпече и Баян-Слу» в замечательном переводе Георгия Тверитина (1941) в конце концов нашлось, но качество изображения оказалось таким скверным, что пришлось воспользоваться изданием 1928 года. Текст тот же, но название еще авторское — не Сказание, а Песнь (Георгий Тверитин умер от тифа в Петрограде в 1922 году)

юшки незнакомое мне устройство и волоком тянут его в поле. Полею я называю черный (среди ярко-зеленого) небольшой прямоугольник пустой и негладкой земли. Появляется и старуха. Пригнувшись, дверца-то низкая, влезает в сарай. Оглядываясь на дочерей. И там непонятное: распутывают какие-то запутавшиеся ремни. Старуха выносит из сараюшки и ставит на землю ведра, в ведрах картошки. Подоткнув юбку, распрямляется и, увидев меня, машет. Зовет руками — иди, мол, сюда. Бегу, не веря внезапной удаче. Удача вместо одинокого дня! Женьку же, как и вчера, мама увела с собой на работу. Теперь у коровника вся деревенская малышня собирается. Скотный начальник для вида ругается, а парное молоко все равно и им дает. Не только телятам.

Старуха хватает большие ведра. Я — малое. Идем медленно. Старуха впереди, я за ней. Не бегом, а вышагивая под шагалку, только что, на ходу придуманную: *у картошки вылупились рожки.*

Девицы, прицепив половину ремней к вытащенной из сараюшки штуковине, пробуют и сами туда же, в упряжь засунуться. Не все три — две: средняя и самая младшая. Старшая

и длинные косы почему же не ухватиться? Чтобы из бездонного колодца выбраться. Вот Баян-Слу их и обрезала. Схватила острый-преострый меч — и чик-чирик. Злодей, погубивший Козы-Корпеча, заорал от страха и провалился в бездну...

Мамин недовольный голос звучит внутри уха: *сколько раз тебе говорила — глазеть на живых людей неприлично!* Можно подумать, что я не знаю. Знаю, а со своего наблюдательного пункта все равно не сдвинусь, пока не разгляжу лица девиц и не догадаюсь, которая из сестричек самая похожая на Баян-Слу.

Не помню, что сначала, а что потом: толстый кусок пирога с толченой черемухой или ведро со старой картошкой. Да это и не важно, важнее живая картинка. По счастью, почти сохранная. Самое начало весны. Не слишком раннее, уже согревшееся утро. Зайдя за угол дома, останавливаюсь, удивленная происходящим в соседском дворе. Три девицы вытаскивают из сара-

ухватывается за что-то похожее на руль трехколесного велосипедика. Одна сзади правит и давит-держит, передние тянут-потянут. Кривоватая рыхлятина превращается в прямую красивую черную борозду. Добравшись до крайчика, останавливаются. Отдыхиваются, не распрягаясь. Старуха со старшей дочкой возьмется со штуковиной...

— Что это было? Как называется?

Мама неожиданно охотно: дескать, в гражданку мужики-дезертиры тоже впрягались. На себе пахали. Лошади или покрадены, или от голода сдохли.

— Где?

— Да там, у Прасаловичей. Где наша Ирина с мужем работали. Смолоду, как повенчались. Верстах в сорока от Орши.

— Это когда же... А сегодня зачем? Почему? А что за штуку тащили?

Мама раздумчиво:

— Соха, наверное. Самодельная вроде.

Но я опять не соблюдаю распорядок. До разговора с мамой у печки длинный-длинный весенний день!

Дотянув самодельную земледелку до дальнего края второй борозды, девицы быстренько распрягаются и убегают в дом. Старшая ненадолго задерживается, складывая упряжь. Сложив, тоже уходит. Вот тут-то мы и принимаемся за работу. Мы — это старуха и я. Мы сажаем картошку! Хозяйка какой-то особой, не простой палкой делает ямку в самой середочке борозды, а я укладываю в ямку картошинку. Вверх рожками и той стороной, где рожки потолще да покрепче. Делать это самой хозяйке несподручно, спина не сгибается. А мне сгибаться не нужно. Присаживаюсь на корточки и стараюсь. Только б не скособочить рожки-росточки! Смысл того, о чем «Большая Подельница» говорит, доходит не сразу. А говорит она не то чтоб по-русски. По-татарски, конечно. Да и течение речи пусть и плавное, слишком уж быстрое. И все-таки, вслушавшись, выуживаю из речевого потока почти понятные слова. Ситуацию проясняющие. Девки, мол, как только мы свое дело кончим, остальное вручную доделают. А ты и завтра к нам приходи...

Про то, что за «помочь» соседи подарят мне лично ведерко старой картошки, поставив его на прикрылечный пень, несколько раз рассказывала мама. Потом, после войны. И отцу, и гостям, и братьям. Картошки, мол, были не сортовые, столовые. Или очень уж крупные, с шишками, или чересчур мелкие. А вот про пирог с толченой черемухой запомнила. Зато я его не забыла.

Поставив миску с еще тепловатым куском пирога на приступочку, младшая из сестер, зачерпнув из бочки снеговой воды, поливает мне на руки, руки, ой, грязные... Наконец-то вижу ее вблизи. Ну конечно, младшая всех красивее. Старшая тоже была бы красавицей. Если б не оспины.

А может, и я бы запомнила о не похожем на бьялиш печеве, если б не главное событие того лета — поездка (путешествие!) в дальний лес за поспевшей черемухой. Лошади две. Телеги две. На одной связка пустых корзин и три огромные молочные фляги<sup>1</sup>. Здесь же и мое место: ворох свежего сена и старый, с одним рукавом, полубок. На другую телегу усаживаются сестры

<sup>1</sup>Как я теперь понимаю, заготовка черемухи производилась по договору с местным потребсоюзом, членами которого соседи, видимо, и состояли. Причем с давних пор. Отсель и неожиданно приехавшие лошади, и молочные фляги. Через кооперацию наверняка сбывали и свое тканье. То есть и это делали почти легально, давней инициативой Ленина узаконенным способом.

и их товарки. Платки, легкие, шелковые, завязаны плотно, видны только глаза. «Комар носа не подточит». Из Чишмы комары улетучились — август. В лесу же по-прежнему злобствуют. Даже при солнце...

Едем деревней. У крайней избы притормаживаем. Одна из товаров прыгивает. Прибегает собака, кому-то знакомая. Бежит рядом. Солнце наконец просыпается, я же, наоборот, задремываю.

Останавливаемся на краю распадка, густо поросшего черемуховым молодняком. Старшая из сестриц спускается к родничку, собака за ней. Приносит кувшин воды. И горсточку ягод. Угощает. Ягоды мелкие и невкусные — суховатые. Опять едем. Собака запрыгивает в телегу. Ну вот, наконец-то приехали. Девочки расхватывают корзины — и в лес. Один из возниц остается при лошадях, другой достает топорик и тоже уходит. Вскоре уходит и второй. Собака то прибегает, то убегает. Вроде как проверяет, сторожу ли я их имущество. Сторожу, сторожу, успокойся, вот только стараюсь держаться на солнечной стороне полянки, там комарья поменьше. Голоса сборщиц то громче, то глуше. Далеко... Ближе... Совсем близко... А вот и они. Возницы переставляют фляги. С телеги на землю. Корзины наполнены с верхом. Ягоды крупные, кисточками, почти как смородина. Осторожно пересыпают добычу во фляги. Опустошив корзины, снова исчезают в лесу. И так весь день: приходят, пересыпают, убегают. Солнце начинает снижаться. Защелкнув полные фляги, мужики поднимают их на телегу. Пристегивают ремнями. Разворачивают свернутую конвертиком одеялку. Достают лепешки. Остальные опять заворачивают. Половинку протягивают мне. Тепловатая. Пахнет бараниной. Вкусно. Кричат. Зовут. Сердятся. Явившись, сборщицы ягод не обижаются. Пристраивают к флягам принесенные корзины. Мужики выводят обоз на дорогу. Мы следом, пешком. Усевшись, девицы снова распеленывают лепешки. Опять протягивают мне половину.

Пока не стемнело, распутав ненужную больше комариную марлю, смотрю. Смотрю-смотрю... Глазами жадными цапая!!! Хотя зацепиться вроде бы не за что. Степь да простор. Простор да степь.

Останавливаемся у поворота к отшибу. Они стоят рядом — моя мама и старуха соседская.

Утро. Мама с Женькой и Эльвирой отправляются в сельский совет. Туда своими ногами. Обрато их кто-то подбрасывает. А в соседнем доме аврал (папкино слово). Разложив по крыше сарайки жестяные листы, старшие девы перебирают, пере-



Ткацкие фабрики существуют сами по себе, а ткачество как искусство само по себе. Фотография красавицы-мастерицы из архива газеты «Дружба». Башкортостан, начало 90-х годов



Ручной ткацкий станок. Музей народного быта. Башкортостан. Современное фото

сыпая из корзины в корзины, вчерашний ягодный сбор. По одной передают младшей. Моя Баян-Слу рассыпает черемуху по горячим от солнца железкам. Прикручивает от воробьев и вороны пугалку. Сама спускается, мне помогает забраться. Протягивает еще одну пугалку. Палку с цветными веревочками. Воробьи разлетаются. Зато карга на чеку. Ждет-пождет, что я зазеваюсь. Да я-то я не зеваю. Кричу: кыш! Машу палкой! Кыш... Кыш...

Солнце закатывается за нашу избу. Меня с крыши девицы спускают, а сами, пересыпав подсушенные кисточки в плоские и мелковатые, но большие корзинки, уносят их в дом. На завтра сушение повторяется. А дня через три ягоды уже не рассыпают — досушивают прямо корзинах. Время от времени Баян-Слу их по очереди встряхивает.

Днем еще жарко, к вечеру холодает. Ничего не поделаешь. Август. Мама на ферму уже не всегда ходит. Грустная. Во-первых, уехали Ивантеевы. Все. И Эльвира, и тетка со своим противным племянником. Внезапно. Договорившись с жильцами из Туймазы. Сначала до Уфы, а там как

получится. Во-вторых, родители Миникамал привезли большую Нурию. У нее какой-то нехороший понос. Нурию привезли, а Ахмета забрали. Им, стареньким, для помочи руки мужские нужны. Детские, но мужские. Да и нам собираться пора. Дождемся весточки от отца, получим аттестатные деньги и тронемся. Куда тронемся? Как называется?

Мама (неохотно):

— В районе сказали, что это рабочий поселок. И школа там действующая. А ты, доча, сходила бы лучше к соседям. Может, сухой черемухи продадут. Может, отвар понос у Нурии остановит...

Стучу. Открывает средняя из сестер. Объясняю. Не понимает. Зовет мать. Опять объясняю. Хозяйка, странное дело, вроде как понимает, мол, гостевой будешь. Вхожу и обалдеваю, и, разумеется, и вообразить не могу, что лет через тридцать почти что такой же ткацкий станочек еще раз увижу. Не в натуре, конечно, в виде игрушечной копии! Копия копией, а рабочая! Дочь до сих пор вспоминает. И вкусно пахнущий деревянный станочек, и моточки яркой, пушистой, тонюсенькой, идеально ровной шерсти. Там же, в «Детском мире» продававшейся. Красные, желтые, синие, белые. Маленькие, как мулине. Я из них даже шарфик себе соткала. И дочка тоже. Для обезьянки. «Детский мир» на Дзержинке только-только открылся, и ежели все этажи обойти, что-нибудь неожиданное, не пластмассовое попадется.

Но это игрушка. На старой моей картинке он и в натуре, и в антураже. Горница нарядная, слегка смахивающая на провинциальный музей народного ткачества. Во всяком случае, в проекции воспоминаний. Половину музейного пространства занимает деревянный, стародавней выделки и устройства ткацкий станок. В работе холст. Ужинь той же, что и домотканина, из которой кроились штанишки для Миникамал. А вот полосочки (вдоль) разноцветные. За станком, не отвлекаясь на мой приход, Старшая. Я, столбиком, в центре. В кулаке — мятая денежка. Средняя протягивает мне большую кружку, плотно набитую сухими черными ягодами, и я, спохватившись, раскрываю кулак. Старуха, улыбаясь, снимает с моей ладошки, потной от напряжения, денежную бумажку и что-то говорит дочери. А та жестами объясняет: кружку, мол, непременно вернуть. Прощаюсь, не отрывая глаз от станка и ткачихи.

Утро. Пасмурно. Не теплый бисерный дождик. Открывает, как и вчера, Средняя. Калоши, де-

сказать, следует снять. Проводит в комнату, усаживает на стул, придвинув к работающему станку. Будь я помоложе и порасторопней, съездила бы в модную ныне Этнодеревню. Наверняка там не только углевые утюги имеются, но и станки ткацкие. А потом и делала бы вид, что запомнила, как все это делается. Увы, не запомнила — не до того было. У меня на глазах происходило нечто похожее на чудо. А чуду надлежит оставаться чудом.

Что касается игрушечного подобия... Пришлось, как помнится, прочитав инструкцию, вытаскивать Муравьева из его комнаты. Муравьев, хотя и не сразу, в устройстве станочка разобрался.

Опять свернула-вильнула вместе с тропой! Возвращаясь в Чишму 1942 года. Август подходит к концу. Мама давно написала отъездные письма — и отцу, и в Лопасню, дяде Сереже. Вернее, не письма, а последние почтовые карточки с одним и тем же рисунком: «Родина-мать зовет!» (ни конвертов, ни почтовой бумаги у нас давно нет). Написала, но не отправляет. В сельсовете не знают почтового адреса нового места. Того, где, как заверили в райисполкоме, действует настоящая русская школа. Чуть ли не семилетка. Наконец появляется Халиль. С адресом и нужной бумагой с печатью. Мама вписывает в открытки наш новый почтовый адрес. И отдает почту, как и все в деревне, Халилю. Она озабоченная, но не печальная. А вот Халиль сердитый. Выговаривает. То маме, то Миникамал.

Вечером. Перед сном.

— Ма, почему?

Мама, доштопивая дырки на чулках и рейтузах, мигом восстанавливает до внятного объема очередное мое *почему*:

— Почему сердится? Куда уезжаем — не нравится.

### Идет коза рогатая...

На кого (конкретно) сердился Халиль — на мамину доверчивость, на районное ли партначальство или на себя самого, не сумевшего объяснить толком, почему сердится, непонятно. Зато уж про то, что не зря сердится, не только мама, но и я ситуацию сообразила. Еще до того, как Умница оставилась у здешнего «начальственного» места. Поселок, куда нас направили на житье и учение, был брошенным. Практически мертвым. Окна кособоких домишек забиты калечными досками,

в бывших огородах заросли сорняков. Время ранне-осеннее, теплынь на излете, и нигде ни души.

Удостоверившись, что остатки начальства на месте, «при исполнении», Халиль, выгрузив наши вещички, уезжает. Мы с Женькой бросаемся за ним — не останавливается, не оглядывается.

Мама берет Женьку за руку и вместе с начальником (худющий, маленький, хлипкий, то ли недоросток, то ли подросток) уходит. Я сторожем при вещах. Никакой возможности выяснить, как же мы здесь очутились, у меня, естественно, нет. И не будет. Ни тогда, ни потом. Мама, чего за нею не помню, недели, видимо, на полторы вроде как отключилась. Нет, нет, все шло как обычно. Жилье быстро нашлось. И плита, и печка оказались сохранными. Дровишки за ночь подсыхали в запечье. Ведро с картошкой то пустело, то наполнялось. Мы даже отыскивали здание школы, конечно, начальной, и, конечно, запертое на амбарный замок. По причине отсутствия учащихся. Правда, в том же строении, как объяснила соседка, продолжала квартировать (так и сказала — квартировать) учительница. Объясняя, смотрела она на нас жалостно, на маму особенно. А когда уходили, вдогонку крикнула. В район-де Прасковья ушла. За зарплатой. Вернется, к тебе забежит. Может, девчонку чему поучит.

Забежать неуволимая Прасковья так и не забежала. Ни завтра, ни послезавтра, а вот дня через три мы ее все же застали. Учить согласилась. Да только урока через четыре наотрез отказалась. А мне сказала: про то, чему здешних учила, ты и так знаешь. А табличку умножения выучи. Назубок. Слышь? Пусть мать проследит.

Денежку за уроки Прасковья взяла жадно, но без чая не отпустила. И сахарных льдинок в блюдечко наколола. За чаем и историю мертвого места кое-как с пятого на десятое изложила. В прежнее, мол, доколхозные времена здесь староверы построились. Они и школу срубили. Жили-были и вдруг пропали. Исчезли — и след простыл. А года за два, а может, и за три до 41-го сельхозремонтники поселились. Не насовсем. Временно. Пока машинно-тракторную станцию построят. Малышны у них уйма, вот школу и подновили. Сельхозремонт, как войну объявили, свернули. Ремонтников — кого в армию, кого по заводам. Жизнь сразу и замерла. Одно старичье. Я-то при школе по-прежнему числюсь, а вдруг опять что-нибудь учредят. Жилья-то вон сколько. Какое-никакое, а жилье.

Как долго мы здесь задержались? Месяца на два? Или подольше? Видимо, все-таки до середины, а может, и начала ноября. Во всяком случае,

дядька Ефим, младший из маминих братьев, неожиданно-негаданно заявившийся, был уже в полушубке, как и привезший его Халиль. У Ефима Филиппыча полушубок новешенький, белый, а на Халиле все тот же, поношенный. Они о чем-то с трудом договариваются. Дядька достает из офицерской, на ремешке, сумки какие-то бумаги. Мама стоит опустив руки. Лицо... Ой, какое лицо! Светится! У меня на коленях кастрюля с прилипшей к донцу, размоченной и распаренной пшеницей. Отскрести трудно — под мышками чирьи. Самые болючие на шее, за ухом. Наконец Халиль, на этот раз радостный, уезжает. Дальнейшее не то что стирается, а запутывается. Причем не только в моей, но и в маминей памяти. Относительно четки только начало и самый конец.

День первый. Точнее, почти вечер.

Уже не экономя подсохшие поленья, мама сильно растапливает плиту. Дядька, стянув через голову гимнастерку, умывается. Фыркает и сморкается. А мы с Женькой пируем, слизывая намазанную на хлеб тушенку. Печка пылает. Получив на десерт по куску рафинада, усаживается на кровать. А они за тем же столом-табуреткой. Брат да сестра. Как и мы. Сначала по чарочке, вернее, по глотку из фляжки.

Снова хлопает входная, с улицы, дверь. На пороге незнакомый мужик. Злобный и черный, как черт. Матерится. Дядька вскакивает и, отщелкнув замочки на чемоданчике, достает бутылку. И еще что-то. Мужик надевает другое лицо. Услужливое.

День второй.

Вещи собраны. Мы одеты. Дядька, поглядывая на часы, меняется с Халилем полушубками. Исчезают. Оба. Мама уже в пальто. Ждем. Входит малознакомая владелица полумертвого дома. Живет она вроде как у сестры, в другом месте. Мама отдает ей ключи и кастрюлю. Кастрюлю она не берет, хотя мама до блеска ее отчистила. Не нужна, дескать. А вам пригодится.

Опять сидим. Я дергаюсь. Мама спокойная. У нее на коленях завернутая в газету и оставленная Ефимом бутылка. Заметив бутылку, возница сгребает сразу все наши пожитки. Укладывает. Усаживает поудобнее Женьку. Получив бутылку, подсаживает и маму.

Люди начала тридцатых годов прошлого века перемещались с удивительной легкостью. Из одной родственной точки в другую. Неужели только потому, что никак не могли насытиться быстротой и доступностью железной езды? Вряд ли... Вопрос как нависал, так и нависает. Праздно и безответ-

но. Нет ответа и на смежно-соседнее недоумение. Письма с фронта, и наоборот, как правило, не пропадают в пути — почему? Впрочем, в Шаповаловском кругу родственная связь поддерживалась не столько службизмом почтовых служб, сколько остойчивостью дома по адресу Лопасня, 1-й станционный поселок, 9, и суховатой обязательностью его хозяина.

Всех разметала война. Ефим на фронте. Тети-Катин любимый племянник Женя Шумейко тоже. Маруся в блокаде. Галя в Башкирии. Ирина под немцем. Лиза вместе с паровозоремонтным под Саратовом. А он, Сергей, тут как тут. Линии связи свяжутся, а он их связывает.

Ранили дядьку Ефима не то чтобы тяжело, а все же с последствиями. В прифронтовом госпитале перевязали. В ближайшем подлечили. Долечиваться отправили в далекий тыл. Лечили быстро, долечивали долго, переводя из одного госпиталя в другой. Оказавшись в Уфе, списался он наконец с Лопасней. А когда узнал от брата Сергея мамин адрес, удивился. Туймазы, Салкын-Чишма? Да это же рядышком! По пути на фронт и завернул мимоездом. Да нас-то по тому адресу и след простыл. В Чишме однако заволновались, разыскали Халиля. С ним-то дядька Ефим и договорился: и нас отыскать, и из мертвого места в жилое и живое определить. Не за так, конечно. Денег не надо, а вот обменяться полушубками — самое то. Концы-то не близкие. Сначала в мертвый поселок. Назавтра пораньше в район. Послезавтра на станцию, к поезду, в Туймазы. И все «на рысях».

Полушубок дядюшкин ой замечательный. Зато и Халиль не подвел. Ни разу не опоздал, да еще и сумел на местных хмырей управу найти! Выдали, черти, прожиточную бумагу. Разрешение на законное перемещение семьи инженер-капитана третьего ранга Марченко Максима Сафроновича в русскоговорящее Большое Село. Дабы старшая его дочь смогла наконец-то учиться в полноценной четырехклассной школе.

Школа здесь и впрямь замечательная. Пятистенка досоветской земской постройки. В такой, по ее рассказам, когда-то «наставничала» и моя мама. Вот только учительница одна на все четыре класса. Второго, молодого и новенького, призвали в действующую армию. И о школе, и о других примечательностях Большого Русского Села (то ли Степановки, то ли Алексеевки) расскажу чуть позднее. Начну же с признания в очередном глупстве, к счастью, похоже, почти последнем.

Русское село, где наконец-то согласились принять еще одно «выковырянное» семейство, отыс-



Коза символ  
2015 года!

2015godkozy.com

Пересмотрела сотни фотографий Больших Коз. Некоторые прямо-таки просятся в сказки всех времен и народов. Однако на мою Козу самой похожей оказалась Коза-башкирка

калось, напоминаю, лишь к ноябрю 1942 года. Да и жилье оказалось не очень-то пригодным для зимования: садовая сторожка. Хозяин хибары, молодой еще старик, с весны до осени стороживший колхозный сад, на холода перебирался к замужней дочери. К себе, в сторожку, заглядывал раза два в день. Подоить да напоить рогатую свою Козу, привязанную на цепь в сенцах.

Пока сильных морозов не было, в школу я бегала в ботинках с галошами, но как только морозы грянули, мама достала из чемодана прошлогодние валенки. Провожая меня в школу, она из-за Козы обязательно выходила в сенцы, а тут замешкалась. Завидев меня без охраны, чудище вздыбилось и, набычившись, ринулось. Я заорала, Коза метнулась и опрокинула ведро с водой прямо мне под ноги. На ночь, натопив печку, промокшие валенки поставили сушить, а утром обнаружили: на подошвах большущие, насквозь прожженные дыры. Сторож обувку взял, пообещал на досуге к концу каникул подшить (ежели найдется чем). А мама слово дала: когда поедет в район и получит деньги по отцовскому аттестату, обязательно купит мне самую толстую книгу.

Единственной книгой, продававшейся в районном сельпо, была «История Древнего мира», учебник то ли для пятого, то ли шестого класса.

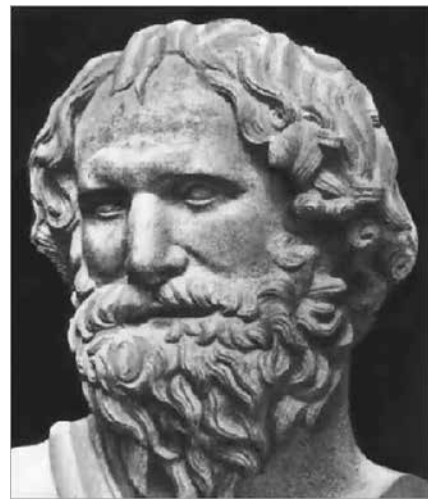
В каникулы школьники, включая первоклашек и городских неумех, выгребали из коровника навоз. Деревенские вывозили его в поля, а я все читала и читала, благо Женьку, как и все недеревенские, мама уводила с собой. И все-таки только читать про Древнюю Грецию было скучновато. Единственное развлечение — дойка Козы. Но это поздним утром или к вечеру. И вдруг сегодня, вот радость-то, хозяин и днем пришел! Может, и раньше

он *среди бела дня* к Козе иногда заглядывал, но я-то в школе была. Зато на этот раз тутточки, и я наконец-то могу хорошенько его рассмотреть. Кудряво-бородатый, в огромном кожухе, хромой, ногу ему покaleчили еще на Гражданке. Вошел и сразу же начал возиться в сенцах, громыхая сваленными в угол железками. (Кроме рогатой Козы и яблоневого сучья, в размер здешней печки мелко нарубленного и аккуратно сложенного, в сторожке хранится и его «струмент».) Выскользнув из-под одеяла, на цыпочках, крадучись, подбираюсь к щелястой двери, чтобы понаблюдать за ним. Точнее, за ними. Потому что как только мой глаз находит подходящую для наблюдения дверную щель, Коза тяжело, по-стариковски, поднявшись и натянув цепь, разворачивает и бороду, и рога так прицельно, что страшные ее зенки — желтые, дикие, — не ища, *запеленговывают мой окуляр*. Затаив дыхание, переступаю то влево, то вправо, но так же осторожно меняет положение и Коза. Почему она так пристально смотрит, прямо глаз не спускает? А может, и ей скучно? И все-таки чуточку боязно. А вдруг цепь сорвется, крюк-то ржавый? Озябнув, возвращаюсь в кровать, в одеяльную палатку, и опять отправляюсь в древний мир...

Гумилев-сын хвастал: к девяти годам прочел чуть не все отцовские (исторические) книги и все понял. Я, каюсь, многого не поняла. Читала, выживая в тексте не исторические факты, а лица и положения, оживить которые помогал (одевая в плоть) куцый и бедный жизненный опыт. Циклопа, к примеру, представляла похожим на водолаза, сильно когда-то меня напугавшего. А попробуй не испугайся, когда из моря, прямо перед твоим носом, высовывается круглая железная голова с круглым и тоже огромным глазом! Встреча эта с Циклопом случилась, видимо, в декабре 37-го, когда мама была еще в роддоме с новорожденным Женькой, а в детсаду очередная инфекция. Вот отец и берет меня с собой. Одна из подводок его дивизиона — в бухте, на ремонте, водолазы проверяют ее подводную часть. Меня, конечно же, засмеяли. А Циклоп, разоблачившись, превратился в веселого и ловкого парня, и когда команда отправилась на обед — щи хлебать да котлеты рубать, — взял да отчебучил тот еще номер. Засунув меня под мышку, потащил, рыча не по-человечески, внутрь подлодки «Малютки», а там, раскачав, забросил в подвесную койку, похожую на гамак...

Первые струйки козьего молока, ударяясь о дно железного ковшика, звенят по-особенному. Не по-коровьи. Не грубо и вкусно, а тонко. Будто

кто-то невидимый оттягивает струну какого-то стародавнего музыкального инструмента. Оставив «Историю...», снова подкрадываюсь к двери. Без ушанки, присев на корточки, сторож выдаивает Козу. Кудряво-дремучие его волосы, как и обычно, когда он возится с железками, повязаны тоненьким кожаным ремешком. Обросшая столь же дремучей шерстью, Козлица блаженствует. Голова хозяина страшно похожа на что-то знакомое. На кого же? Ну да, конечно, на голову самого красивого старика на картинке из «Истории Древнего мира» — великого Архимеда!



Время вроде не движется, а все равно приближается к Новому году. Ни настоящие елки, ни сосны здесь не растут. Но елочку все-таки можно же сделать? Из прутиков, например, которые и искать-то не надо. Архимед и их не выбрасывает, а, связав как метелки, складывает у нашей, а не входной двери. Мама эти метелочки на растопку берет. Раньше и меня иногда посылала, козья цепь сюда не дотягивается. Сложив добычу у самой печки, жду, чтобы отогрелась и разморозились. Раскладываю рядком. И выбрав подходящие, собираю в букет. Вполне похожий, на мой взгляд, на маленькую лысую елочку. Нахожу и подходящую глубокую и широкую щель на подоконнике. Лысенькая влезает туда с трудом, но влезает, а я сразу же, отыскав на самом дне чемодана два листика твердой белой бумаги, а в маминной сумочке тюбик с красной губной помадой и крохотные маникюрные ножнички, принимаюсь за изготовление украшений. Но сначала все-таки еще раз перерываю содержимое чемодана. А вдруг? И не напрасно роюсь! В самом-самом углу нахожу большую малиновую стеклянную бусину. (Видимо, именно в этом чемоданчике до войны хранилось имущество Деда Мороза: хлопущки, бусы, гирлянды, коробка с Папаниным и папанинцами на льдине...) Напавлив малинную находку на макушку лысенькой елочки, радуюсь. Осталось самое простое и когда-то самое неинтересное — картонаж, то есть почти плоские картонные фигурки разных зверей. Но это-то и оказывается самым трудным. Хуже всех (непохожее) получились вырезанные из полуватмана собаки. Получше — мишки на севере, а лучше всего крокодилы. Все красные и все на ниточках. Но если отойти к двери и чуточку прищуриться, смотрится мое изделие очень даже красиво. Особенно в ранних зимних сумерках. Но ни мама, ни братик, вернувшись, его даже не замечают. А утром Женька, едва проснувшись, выдернул бедную мою елочку из трещины на под-



Архимед долго был для меня главным героем античного мира. Пока наша учительница истории Любовь Ивановна Острогорская не упомянула, что гениальный математик и геометр стыдился своих инженерных изобретений и вообще всего, что требует ремесленного ручного труда

оконнике, а мама на следующий день нечаянно сожгла в печке...

Наконец каникулы кончаются. Возвращаются и отданные в починку валенки. Подшитые шире и удобнее неподшитых. Теперь в них свободно влезает татарский носок. Носок с пришитой толстой подошвой мама почему-то называет татарским. Другой сменной обуви у меня нет. К тому же подшитые валенки не опрокидываются. Не валятся на бок. Ведь те, что сваливаются, а не стоят прямо, мальчишки на перемене гоняют как мяч. Правда, хотя и играют, а не портят. Боятся Деда. Дед в школе человек заглавный: истопник, дворник, уборщик, воспитатель и даже лекарь.

С месяц я наслаждаюсь. Чем? Как чем? Все говорят по-русски! Орут по-русски. Дразнятся тоже. Голова от русского гула чуточку кружится. Вообще-то у Ксенофонтовны не поорешь. (По имени-отчеству ни Дед, ни школьники учительницу за глаза не называют — длинно, язык сломаешь.) Особенно когда в одном помещении сидят



сразу два класса: второй и четвертый. Нравится мне учиться? Не знаю. С устным счетом *посредственно*, хотя и считаю вечерами в уме. Отнять — прибавить ведра, яблоки, рубли, коров. Таблица умножения в чемодане. В кармашке на внутренней стороне крышки. Пятью пять, семью семь... Достая — прячу. Урок чистописания отменен. Жалко. Буквы у меня некрасивые. Если пишешь в уме — не заметно. Правда, вскоре после каникул Дед раздает чистописательные тетрадки. Всем по одной. Но не для чистописания, а для всего. Других больше нет и не будет. Ни в школе. Ни в районе. Как выглядят буквы у одноклассников, за спинами не разглядеть. А вот у соседнего мальчика как в прописи. У него стройно, у меня хромоножно. Что я про него знаю? Только то, что моя мама и его мама немножко знакомы и что живут, как и мы, в Заовражье. В школе его называют по-разному: кто Владик, кто Вадик. А он, как ни оклики, не откликается. Он же букву «л» не совсем четко выговаривает. Но как ни оклики, улыбается. Хотя и молча. А после уроков сразу же убегает.

Голодать мы не голодаем. Хозяин снабжает нас верной едой (луком, картошкой и сушеным компотом). Подкармливает и соседка. Кислым снятым молоком. Сметана — себе и своим, сыворотка — кошке, кисляк — то нам, то жиличке. Иногда, если останется, продает и настоящее молоко. Мама у соседки засиживается. Даже договорились вместе испечь хлеб. Точнее, хлебы. Напополам, вскладчину. Мука наша (эвакуированная). Все остальное соседкино: печка, дрова, закваска, квашня.

В избу ни меня, ни Женьку не приглашают. Во двор тоже. Уходим к себе в сторожку. Осторожно, не пролить бы, наливаю в кружку кисляк. Картошки в плохонькой нашей печке совсем холодные. День Хлеба, а все сикось-накось. Прибегает мама, вынимает из большого чемодана тонкое полотенце, сует мне чистую торбочку, и мы убегает.

Хлебы красуются на столе. Шесть больших и красиво круглых. А один маленький. Кривой и надломанный. Стою у двери. В валенках. Не раздеваясь. Мама забирает свою долю. Сложив попками, закутывает в полотенце и опускает в торбочку. Соседка отламывает от уже разломанного каравай большой кусок. Это наша детская доля. От кривобокого излишка. Домой с хлебами мы не идем, а поспешаем. Мама, не замедляясь, предупреждает: «С Женечкой поделишься по-братски». Обижаюсь. Она что, боится, что я побольше от детской доли себе отломаю? Отдаю Женьке весь



На фотографии, сделанной зимой 1941 года, — ученики пятого класса русской семилетки, расположенной в административном центре одного из районов Башкирии. В отличие от сельских четырехлеток, здесь (как и всюду в поселках городского типа), в одном помещении занимается один класс. А вот парты длинные, на четверых, как и в нашей земской постройке

хлебный кусок. Но мама этого не замечает. И лицо у нее незнакомое. Завернув как следует каравай и сунув его обратно, в торбочку, спрашивает:

— Помнишь, где Владик-Вадик живет? Ему и буханку отдашь. Не вынимая. В разъяснения не вступаю, велено, дескать.

— Почему?

— Завтра поговорим. А сейчас ноги в руки — и колобком. *Катись колобком* — это отец обо мне. Ежели под ногами путаюсь и о чем говорят слушаю. Давно, еще в Севастополе. Если мама такое вспомнила, значит, опять от него нет писем.

Владик-Вадик встречает меня молча. Молча, двумя руками, прихватывает сунутую ему сумку. Кубарем скатываюсь с крыльца, падаю в снег, поднявшись, кричу: «Это для вас! Гостинец!»



Фотография 1941 года. Башкирия. Районная семилетка. Внеклассные занятия.

Из книги «Такое долгое детство, или Прodelки Клио»

Утро. В классе от солнца просторно. И очень-очень светло. Рассаживаемся как всегда. Парта (или что-то партообразное, вроде длинной скамьи, не помню) последняя, а я с краю. Как всегда. И все как всегда. Нет, не совсем. Уроки кончены. Дед собирает тетради. Уносить их с собою не полагается. Владик-Вадик берет мой карандаш, чернильный, сильно сточившийся, укладывает в свой пенал. Объясняет: у нас, мол, дома хорошая точилка имеется. Карандаш принесу завтра. Острый.

Оттепель... Ростепель... Одна из больших ленинградских девочек, дождавшись Ксенофоновны, идет за ней следом во внутренний коридор, а когда возвращается, держит в руках книгу. Ни о чем не спрашивая, сильно и сразу распахиваю ту же дверь. Как осмелилась? Вот так и осмелилась же. И мне, говорю. Мне — тоже.

— Что и тебе? Книгу?

Книги здесь не в шкафу. В сундуке. Сундук распахнут. Сбиваясь с голоса, пробую объяснить, давясь словами и вроде как заикаясь. Ксенофоновна молчит. В панике хватаю толстый, сверху лежащий том и прижимаю к груди. А ну, отними! Из-за книжного изобилия после почти годовой голодухи случилось со мной той весной и некоторое несварение мозгов, «индигестия» по-ученому. «Чук и Гек». «Дети подземелья». «Белый пудель». «Кондуит и Швамбрания». «Детство Темы». «Детство Никиты». «Белеет парус одинокий». Пересказываю Ксенофоновне содержание прочитанного. Новую книжку проглядываю сразу же, на ходу. Школа на другой стороне оврага, в центре села, за насыпью и прудом и подобием клуба. У клуба шпанья-пацанья, ух их сколько. Зато у нас, в Заовражье, тихо. И пусто. В колхозном саду пока несъедобно, а купание еще не началось. Зато как начнется, кишмя кишат, охотно информируют меня одноклассницы. Купальщиков — что мальков в банке.

Пруд-то и вправду не очень большой. Малышня спускается с солнечной стороны, там, где и бабы белье полощут. Три бревна у мостков еще прочно стоят, четвертое ходуном рядышком ходит. Мальчишки, нырнув с насыпи, подплывают саженками и отгоняют его на середину. Там и дурчатся. Подурчатся и опять на место пригонят.

И Аннинский Лев, и Чупринин Сергей сокрушаются (в мемуарах). Дескать, в отличие от перекормленных книгами профессорских деток, они, бедолаги, возрастали на совдеповских суррогатах (вроде как жмыхах).



Обложка и иллюстрация к чудом изданному в 1929 году «Белому пуделю» Куприна, которого, как известно, как и всех эмигрантов, не издавали. Мелочь, конечно, но дело-то в том, что Куприн вернулся в СССР (1938) в основном затем, чтобы его книги стали пусть и не издавать, но хотя бы вернули в библиотеки

И я им верю, потому что не сомневаюсь: сундук с первоклассными детгизовскими изданиями предвоенной поры — нечто исключительное. И где? В глухом околоуральском селе? Рассматривая сейчас в лупу памяти этот громадный книжный сундук, пытаюсь определить хотя бы социальный статус того, кто выбирал-выписывал (выбивал) все эти правильные лучшие книги. А также лечил, подклеивал, собственноручно переплетал испорченные. Да, да, переплетал, что, кстати, делал и Муравьев, когда подбирал на свалке выброшенное из костромских книгохранилищ дореволюционное «хламье». Маму, помнится, прежде всего поразил именно искусно сделанный переплет, когда я ввалилась в сторожку с «Сердцами трех». (В Москве она этого Джека Лондона дочитать не успела.) Однако сам факт существования библиотеки в сундуке ее почему-то не озадачил. В отличие от меня сегодняшней, разумеется. Ну ладно, жил-был один чудак. Может, из бывших, может, из сосланных. Закавыка в другом: книги-то были читанными, а то и зачитанными. Такой вот зачитанной оказалась и история «Пятнадцатилетнего капитана». Впрочем, первая встреча с Жюльем Верном случится не так уж скоро, в разгар лета. А пока холодная не улыбочивая весна, конец марта 1943 года, и у книжки под мышкой другое имя: «Белый пудель».

Мама, явно недовольная мной, задвигает выюшку.

— Пока сама не остынет, кастрюлю в печке не трогай. Да и меня не ждите. Сами ешьте. Сами ложитесь.

Женечке, если не болен, ничего, кроме ничего не кончающейся истории про колобка, на сон грядущий не требуется. Надо только не забывать, в какой овраг или лес колобок вчера вечером закатился и каких там насекомых встретил. Не успеешь придумать, что они там делают и чем кормятся, а он уже спит...

Кочережка у нас легкая и коротенькая. Как раз по мне. Да и сидеть перед печкой, даже уже прогоревшей, теперь удобней. Архимед намедни (его слово) два чурбака прикатил. Низенький для меня. Повыше для мамы.

Возвращается мама поздно. К разговорам перед печкой не расположенная. Натянув старый ничейный свитер, вторые носки и рейтузы, укладываюсь. Спим мы так: я у стены, мама с краю. Женька в середине. В перинке как в коконе. Мамино одеяло розовое. Мое серое. Оба — байковые, старенькие. Мы их в Ульяновске *приобрели*. У Доры в конторе. Из больницы и пионерлагеря списанные.

Просыпаюсь. Мамы опять нет. И печка холодная. Встаю. Надеваю валенки и шубейку. Мама входит с охапкой яблоневого сучья. По одному подкладывает в печку те, что потолще.

— Ма?

— Ну да. Уехали.

— Почему?

— Потому что беда у них. Отец Владика без вести пропал. У Тони ни родных, ни знакомых. Все под немцем остались. Денег теперь тоже нет. И не будет. Ни по аттестату, ни как вдове погибшего красного командира. Она с нами вместе в район ездила. Всем и муку хлебную, и деньги. Тоне — бумажку с печатью. Надо ей поскорее на завод устраиваться. Хорошо, что профессия подходящая. Инженерская.

Мама легонько обнимает меня и даже чмокает куда-то в висок.

Сад здесь большой и, по словам мамы, правильный. С умом устроенный. В лучшем месте заложенный. От ветров защищенном. Ветра, налетающие на село с другой стороны, запутываются в дремучей густоте заросшего древесным самосадам оврага. Сад и овраг, по дну которого протекает сильный ручей, не пересыхающий до сухоты даже в июльский зной, не единственное тенистое место. В самой середине села, через дорогу от школы, есть еще и прозрачный на свет березняк. Вроде как заповедная Роща. Здесь нарезают банные веники, а по весне сцеживают березовый сок. Да и зимой не безлюдно. Не то что у нас в Заовражье. Даже теперь, когда снег сошел и бабья команда под предводительством Архимеда чистит

и обихаживает захиревшие за зиму яблони. Главный гуд-колоброд — от оставленной за воротами малышни. Визжат, толкаются. А я опять в няньках. А ну как кувыркнутся в овраг?

Среди откликов на смерть Гюнтера Грасса однажды ночью прочла: «Книги очень рано стали для него чем-то вроде дырки в заборе, через которую можно было прошмыгнуть в иные миры».

Утром перечитываю и сообразить не могу: у меня-то иначе, а почему? Забор был? Был. И какой! А дырка? И дырка имелаась. И не одна. Множество. А щелей сколько? И все-таки иначе, но почему? Сначала, уже на Щукинской, в Городке (значит, в конце августа 1940-го), отправилась на антресоли «Библиотечка детского сада». Вся и сразу. От Айболита и Мойдодыра до киплингского Слоненка. Заодно с толстой пачкой сказок народов мира. В переносном значении, разумеется. Своих изданий дошкольной серии у нас не было. За исключением приносимых отцом из газетных киосков «Мурзилки», книжек-малышек да лично мною купленного на ВДНХ «Почемучки». Даже когда-то подаренного маминной подругой дореволюционного, с ятями издания пушкинских сказок среди привезенных из Севастополя вещей почему-то не оказалось. Может, и его, когда я scarлатиной болела, так продезинфицировали, что отец в печке специально сжег. Чтобы я не расстраивалась. Если выживу, конечно. Тогда от scarлатины многие умирали. Что же пришло взамен? Увы, скучно-унылые классные и внеклассные необходимости. Усилий и усидчивости они не требовали. Читать я умела давно, но почему-то томительно-медленно, чем и огорчала маму. Кажется, она что-то нехорошее подозревала. То ли лень, то ли хитрованство. Впрочем, с переездом в Военный Городок, рассердившись на мои фокус-покус-капризы, пообещала, что в августе, когда вернусь из Лопасни, запишет в клубную библиотеку. Детский отдел бедный, но формуляр заведут. Словом, если бы не война... Впрочем, неизвестно, продлили «ужасы войны» детство детей войны или, как и считается, отменили?<sup>1</sup>

Разговор об этом у нас уже шел. Не знаю, многих ли он убедил. Но я-то по-прежнему стою на своем. Не спорю, эвакуация и впрямь раздвинула границы детского мира, доступного и обозрению, и удивлению. А значит, и вещества жизни. Но мир при этом почему-то не расширился,

<sup>1</sup> Вот характерный зачин детских воспоминаний о жизни в войну: «Мы дети войны, детство которых закончилось 22 июня 1941 года».

а сузился, и книга силою вещей превратилась в дырку в глухом заборе. Впрочем, не всякая. Иные миры (возвращаясь к метафоре Гюнтера Грасса), словно меченые бильярдные шары, разбегаются по зеленому игровому полю. Слево откатываются те, что ни капельки не похожи на мой (наш) собственный мир. Справа, сбежавшись, теснятся, то шарахаясь, то тычась друг в друга, по-иному слаженные вселенные. Да из чего-то изначально не знакомого произведенные, но при этом почему-то понятные. Почему понятные, непонятно, и тем не менее... Допустим, детгизовский вариант «Детей подземелья» (фрагмент из автобиографической повести Короленко «В дурном обществе»). Казалось бы, чужая, давно прошедшая, миновавшая жизнь, к тому же описанная с избытком неизвестных подробностей? А я вот читаю и почему-то не чувствую ее ни чужой, ни прошедшей. У девочки из подземелья заплаканное личико и слабые ножки Нурии, какой я впервые ее увидела. А бездомные обитатели заброшенного замка? Они такие же — и несчастные, и отчаянные, — как беспризорные мальчишки из кинофильма «Путевка в жизнь», который еще накануне войны в Лопасне шел. То же самое в «Белом пуделе». Крым, описанный в плохонькой с виду книжечке, ничем не напоминает ни мой Севастополь 30-х годов, ни его окрестности. Море, бродячие музыканты, завитые розами дачи, капризный маменькин сыночек — вынь да положь! Ничего впрямую похожего я уж точно не видела, а вот читаю и вижу! У дедушки Мартына Лодыжкина и лицо, и борода, и рубаха почти как у моего собственного деда Сафрона, а злая и вредная дачница — вылитая Дора Шурыгина, московская наша соседка. Да и Владик, сделав неожиданно, на перемене, на спор и подначку, сальто, становится похожим на акробата Сергея. Ни на одну знакомую мне собаку не похож только сам Белый пудель. Но я на него особого внимания и не обращаю. Собачек пуделиной породы полным-полно в заброшенных на антресоли книжках...

Книжное сие отступление наверняка длинновато, а это явно не украшает текст. Но так как о книгах, выламывающих дыры в глухих заборах советского детства, не раз и не два зайдет речь, сокращать отступление не желаю. Это во-первых. Во-вторых, пора наконец признаться и повиниться в равнодушии к увлекательно-завлекательным жанрам (детективы, триллеры, фэнтези и т. д.). Извинение только одно: в моем случае оно изначально. И изначально, и непреодолимо, как и пожизненная приверженность чувству правды и предощущению истины. Не убеждение, не прин-

цип, не воспитанный или даже врожденный вкус, а именно чувство. Свойство, чего уж там, обременительное, приязнь и друзей, и коллег, и знакомых не предполагающее. Впрочем, ранней весной 1943 года об этом я, разумеется, не догадываюсь и объяснить ни маме, ни Ксенофонтоне, почему не понравились «Алые паруса», не умею. К счастью, в ситуацию они «не вникают». Грин возвращается в сундук, а дважды читанный «Белый пудель» опять у меня. Под подушкой. Вот только рассматривать сбереженную здесь южную жизнь некогда. На мне, после школы, опять малышня. Местные, правда, ловкие, к обрыву в овраг не подходят. Остальные или кулемы, или баловни, или безобразники. Хорошо хоть Женька не убегает, рядом копаются. Жуков из-под бревна выковыривает. Сидеть на бревне удобно. Вроде как на завалинке. Архимед срубил с него верхнюю, покатую часть. Ворота в сад заперты изнутри. На щеколду. То дождь взбрызнет, как в парикмахерской, из пуль-вери-за-тора, то опять солнце. Земля наконец оттаяла не только в саду, на припеке, но и там, где наша помойка. Лопату несет мама, остальное я. Отходов сегодня всего ничего. Очистки, скорлупки от Женькиного яйца в мешочек, середки и косточки от сухофруктов. Луковую шелуху и попки от лука мама сжигает.

Мне трудно, мне почти невозможно задать этот вопрос, но я его все-таки задаю:

— И что же теперь с ними будет? Владика, что ли, не в школу, а в ФЗУ отдадут?

Мама, застигнутая врасплох:

— Не знаю. Тоня сказала, что писать никому не будет. Нарочно не будет. Может, и фамилию по метрике переписет. А ФЗУ что? Фабрично-заводское училище. Такое, ну, вроде такого, и в Горках было. В старые годы. При Академии. Там же, в Горках, и отец твой учился. На полном содержании, бесплатно. Как сын крестьянина-бедняка и внук николаевского солдата, защитника Севастополя.

Закроватная стенка сегодня почему-то почти теплая, а постель по-прежнему ледяная. Просовываю руку под Женькино «гнездышко» и поворачиваюсь лицом к стене.

Прежняя, татарская зима было длинной-предлинной, а эта, русская, пронеслась как метель. Спросите, а как же долгожданная хорошая русская школа? Так я же, увы, фактически ничему узкошкольному не научивалась. Ксенофонтонна, устыдившись, что не взяла (из-за таблицы умножения) в третий класс, вызывала к доске только тогда, когда надо было прочесть вслух с листа какой-ни-

будь текст из старенькой хрестоматии. Зато уж в книжках из сундука никогда не отказывала. Ни мне, ни маме. Итак, вторая военная зима была быстроногой. А вот весна поначалу словно в прятки играла. Посветит не грея, озябнет и спрячется. Что за деревья росли в нашем Овраге, мама не знала. И почему так поздно просыпаются — тоже. Все древесные почки в березовой рожице тихомолком проклюнулись. И пришкольное дерево на самой макушке позеленело, а куст у входа в колхозное правление даже в листочках, правда, только с одной, с солнечной стороны. Один Овраг в гонке наперегонки не участвует. Даже лозняк, оцепивший пруд, хотя и переменял чуток расцветку прутьев, овесеньеваться не собирается. Полуденное солнце, разогрев водяное зеркало, до самого заката окатывает его влажным теплом, а почки не набухают...

Утро. Мама, поднявшись на цыпочках, скребется в окно. Выходи, дескать. Накинув на спящего

Женьку свое и мамино одеялки, проскакиваю мимо Козы. Мама, болтая, как девчонка ногами, сидит на краю Оврага как на высоковатом берегу нежно зеленеющей древесной Реки. И шум у нее водяной, хотя и зеленый, и голос — влажный...

Вот так же внезапно и сразу забелел и зарозовел сад. Но нас это не веселило. Архимеду пора переселяться в сторожку, а нам перебраться некуда. Даже на лето, до осенних морозов. Почти все здешние эвакуированные — ленинградцы, а Блокада, несмотря на прорыв и победу под Сталинградом, все еще длится. Какими путями дошла до Ксенофоновны хроника военных событий, даже не предполагаю, но перед началом занятий раз или два в неделю происходил краткий урок политграмоты. Весьма, как помнится, специфический. Дед приносил из кладовки и прицеплял к доске наклеенную на марлю географическую карту СССР. Имена освобожденных Красной армией городов, повторив трижды хором, надлежало запомнить. Как и место их нахождения на карте.

Продолжение следует.